



БОЛЬШАЯ ПРОЗА
ДИНЫ РУБИНОЙ

Дана
Рубина

ДИЗАЙНЕР ЖОРКА

Книга первая

МАЛЬЧИКИ



МОСКВА

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Р82

Оформление серии *Алексея Дурасова*

В оформлении обложки использованы
репродукции картин *Бориса Карафёлова*

Рубина, Дина.

Р82 Дизайнер Жорка. Книга 1. Мальчики / Дина Рубина. — Москва : Эксмо, 2024. — 416 с.

ISBN 978-5-04-206181-3

«Мальчики» — интригующая завязка, первая книга нового большого романа Дина Рубиной «Дизайнер Жорка». Читателю предстоит захватывающее путешествие из довоенной Варшавы в советскую Астрахань, из военной Бухары — в послевоенную Польшу...

В доме десятилетнего Ицика на разные голоса отсчитывают время 387 часов. Уникальную коллекцию начал собирать дед мальчика, а затем продолжил отец — оба искусные часовщики. Убегая от гитлеровского нашествия, семья оказывается в эвакуации в Азии. После войны повзрослевший Ицик, зовущийся теперь Цезарем, возвращается в отчий дом, но вместо коллекции часов находит лишь развалины. Эта утрата подтолкнет его ввязаться в дело, которое газетчики назовут «элегантным ограблением».

Через десятилетия на сцену выйдет Дизайнер Жора. Он же Жорж, Георг, Юрген, Щёрс — в зависимости от страны пребывания. А пока он всего лишь странный мальчик-сирота Жорка. Судьба сведет его и пожилого Цезаря Адамовича, работающего теперь механиком-лаборантом в лепрозории. Судьба же свяжет их тайной одной коллекции.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Д. Рубина, текст, 2024
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2024

ISBN 978-5-04-206181-3

Глава первая

ДВОР

1

— Жорка! Жо-о-орка! Ты где опять затырился, засранец! Вот погоди, найду, будешь уши свои оборванные как грибы собирать. Вот найду, ох, найду-у-у!

Не найдёт. Она никогда его не находит. Поорёт и захлопнется...

Жорка очень зримо представляет себе, как Тамара *захлопывается*: лязгают зубы, губы защёлкиваются на замочек, медленно, на шарнирах опускается крышка черепа, который проворачивается и завинчивается, для надёжности, на костяной резьбе позвонков. В ушах Тамары — замочные скважины, в каждой крикает ключ. И вот стоит она, закрытая шкатулка, стоит и стоит себе, никому не надоедает, не орёт, не угрожает отослать его в Солёное Займище — «свиной с Матвеичем пасти». Стоит и стоит, пока он не отопрёт её и не запустит в дело...

В который раз ему приходит на ум, что в человеческой голове можно бы устроить парочку нехилых тайников. Он и сам лежит сейчас в тайнике, в одном из своих укрытий, разбросанных по дво-

6 ру. Он второе лето уже тайник обустроивает. Это пещерка в поленнице дров, сложенных под навесом у самого забора. Между поленницей и дощатым забором есть зазор для лучшей просушки древесины. Проникнуть туда нормальному человеку немислимо, но Жорка, тощенький, плоский, как шпрота, втискивается бочком. Осторожно вытягивает несколько поленьев, расставляя по бокам опоры — вертикальные сваи, — чтобы не завалило его тайную пещерку... Забирается внутрь и проползает к продольной щели меж двумя чешуйчатыми полешками.

Удобная позиция: перед ним — весь огромный двор. Вон за спиной встревоженной Тамары ступает с крыльца соседка с полным тазом выстиранного белья. Видать, опять поругалась с Шестым, обычно тот сам развешивает стирку — свои кальсоны, необъятные панталоны жены. Ясно, поругались: высокий *восточный* голос Шестого из окна их кухни:

— Я вас оччень уважаю, Катерина Федосеевна, но я вас посажу!

— Ой, напугал, посадит! — звонко кричит та, мощно протряхивая на обеих вытянутых руках мокрые сиреневые рейтузы, протяжные и тяжёлые, как занавес клубной сцены. — Меня и в тюрьме покормят, а ты без меня с голоду подохнешь!

Жорка лежит в тайнике и в продольную щёлку между поленьями (сам вырезал ножичком) наблюдает за Тамарой. Какое наслаждение следить за ней, оставаясь невидимым! Скоро ей надоест скандалить в пустоту, она плюнет себе под ноги, по-

вернётся и уйдёт в дом. Или станет базарить с соседкой — вон, та уже занимает кальсонами нашу верёвку. Впрочем, вряд ли у Тамары хватит пороху сцепиться с Катериной Федосеевной.

Та чуть ли не каждый год брала себе мужей «на пробу». У соседей они получали порядковые номера. Ныне это был Шестой: маленький, вечно чем-то разгорячённый то ли чечен, то ли даг, то ли ногайский татарин, с курчавыми плечами и залившим голосом. Этот слегка подзадержался — видеть, певучий их дуэт чем-то Катерине Федосеевне полюбился.

Самым удачным её мужем был Первый, тот, что погиб в Польше и там же, под Варшавой, похоронен. Теперь Катерина Федосеевна имеет право каждый год ездить к нему на могилу. Уезжает она всегда в драном, на живульку смётанном *полупердине*, в таможенной декларации записывая его *шубой*; в Варшаве покупает уж истинно ШУБУ — роскошную, натурального меха. В ней и возвращается, величаво проплывая таможду, — так океанский лайнер, минуя маяк, входит в бухту: шуба — она шуба и есть, правильно? «Моя заявлена, — говорит Катерина Федосеевна, если вдруг таможенник попался прилипучий, — вон в декларацию гляди. Может, те лупу дать для разгляду?»

По возвращении домой — гениальная спекулянтка! — продаёт шубу с большим наваром.

Ну, а дома сегодня Жорка, пожалуй, и вовсе не покажется, потому как, по всем приметам, дядь Володя сегодня уйдёт в запой.

8 Когда у дядь Володи начинался запой, об этом мгновенно узнавали все соседи: он выносил в палисадник стол, ставил на него проигрыватель и стопку пластинок, рядом водружал бутылку, а то и две, и некоторое время прохаживался гоголем, изображая «культурного человека».

Поначалу шалыпинский бас погромыхивал над двором: «Блоха?! Аха-ха-ха-ха! Бло-ха!!!»

Блоху сменял Мефистофель, со своим знаменитым: «Люди гибнут за металл!» После Мефистофеля, как по часам, на крыльце возникала Тамара, жалобно подвывая: «Во-ов... но не на-адь...» «Сгинь, мымра глухая!» — гремел дядь Володя в одной с Шалыпиным тональности. Это, собственно, и знаменовало начало запоя.

Зелье в бутылке стремительно убывало, оперные арии сменялись эстрадой: «А-ах, арлекину-арлекину...» — раскатывала Пугачёва, похохатывая, заводя весь двор, так что соседки, прополаскивая в тазу посуду на своих кухнях, подпевали: «Есть одна на-гра-да — смех! А-ха-ха-ха-ха...»

По мере Володиного погружения в бездну неутолённой любви и печали песни становились всё задумчивей и философичней: «...И когда я верила, се-ердцу вопреки-и... Мы с тобой два бе-ерега у одной ре-ки...»

Далее всё шло по нарастающей: со второй бутылки слетала крышечка, настроение песен становилось торжественно-патриотичным: «День за днём идут года-а... Зори новых пАкАлений...» В какой-то момент дядь Володя пускался в пляс, горланя охрипшим тенорком: «Ле-енин всег-

да жи-во-ой...» — значит, дело близилось к развязке.

«Не ссыте, суки-граждане! Я закон бля-блюду!»
Ровно в 22.55 он ставил гимн Советского Союза и — вытянувшись сушёной воблой — выслушивал его с зачина до резины финального аккорда, правой ладонью отдавая честь, левую положи на сердце. Этот этап запоя можно было считать торжественной увертюрой...

...ибо на следующий день с утра начиналось первое действие данной оперы: скандалы с верхнего этажа подъезда и до самого низу. После энной бутылки водки дядь Володя приступал к обходу соседей. Минут двадцать, цепляясь за перила и препираясь сам с собой, вздымал себя на третий этаж, где, будучи левшой, в первую очередь ломился в квартиру профессора Фёдорова — ту, что слева. *Получив там пизды* (выражение самого профессора), отлетал к противоположной двери, к профессору Случевскому, получал и там того же, и, рывками скатываясь на второй, а затем и нижний этаж, всюду скандалил и дрался, и *просил на жопу орден*, пока, наконец, украшенный фонарями и ссадинами, на славу отмолоченный, не вываливался во двор, где мочился на развешенные для просушки простыни...

Тут на него, с мухобойкой в руке, выбегала другая Тамара, Тамарка-татарка, защищая свои простыни от ядовито-жёлтой мочи алкаша. Рука у неё была тяжёлой, дралась она умело и хлётко. Тогда на защиту кормильца шла в бой Володина жена Тамара-глухая, крича: «На больного человека, блядь, на больного человека!!!». Их поединок вокруг дядь

10 Володи, который путался под ногами, меж кулаками и коленями двух женщин, пытаясь их разнять, становился грандиозным финалом оперы.

Где в это время были остальные жильцы? На лучших местах в зале! Высыпав на галереи («Уж ложи блещут»), болели громко, увлечённо, вдохновенно: такой спектакль! Свешиваясь из окон, орали: «Тамарка! По яйцам ему, гаду, союз, бля, ему нерушимый!!!» — и в этом могучем единении, в этом народном порыве, не было, вот уж точно, ни научной элиты, ни рабочего класса, ни эллина, ни иудея.

Следующие дня три дядь Володя просто тихо пил; за окном кухни на первом этаже маячила сивая макушка его тяжёлой поникшей головы.

Выйдя из запоя, побрившись, опрыскав кадык одеколоном «Гигиенический», он пускался в обход соседей по той же траектории, сверху вниз: вежливо стучал в каждую дверь и со скорбным достоинством приносил свои глубокие извинения.

Происходило это безобразие только в дни полочки. В остальные дни месяца Владимир Васильич Демидов, человек молчаливый и сдержанный, работал бригадиром ремонтников на судостроительном заводе имени Третьего Интернационала, для чего каждое утро тащился на трамвае через Жилгородок на другой конец города.

* * *

Перед Жоркой в щели его тайного убежища — полуденный двор их волшебного многоколенного дома. Главное, арка просматривается, где, в конце

концов, должен возникнуть Агаша, его дружок-закадыка; хотя, кажется, этот момент никогда не наступит. Да нет, закончатся же когда-то уроки в школе, куда сам Жорка сегодня решил не ходить — что он там забыл? Что забыл он там именно сегодня, когда математики нет по расписанию, а водонасосная станция под Желябовским мостом должна спускать из Кутума воду? Вот это кайф для пацанов! В такие дни они всем двором бегут на Кутум охотиться на раков. Раки там чумовые, огромные! Главное, надеть резиновые сапоги и не забыть ведро.

Дно Кутума покрыто глубокими лужами, там и сям обнажена глинистая земля, заваленная камнями. Ты спускаешься вниз (набережная Кутума метров на пять, а то и больше, выше уровня речки) и бродишь меж камней, переворачивая их палкой. А под камнями копошатся, пятаются, дерутся раки. Собираешь их в вёдра, моешь в принесённой воде, а когда стемнеет, разводишь на берегу костёр.

Из подобранных железяк-арматурин пацаны сооружают треногу, на неё подвешивают котелок. Когда вода закипит, солят её и забрасывают раков... Жуткое, но обалденное зрелище: вода бурлит седыми бурунами, рак вздрагивает, дёргается, крутится, как веретено. В воду хорошо бы добавить пиво, от него рачье мясо нежнее. Жорка всегда надеется стащить у дядь Володи бутылку «Жигулёвского», да у того разве залежится!

Когда раки становятся красными, как жгучий перец, воду сливают, и, смешиваясь с речной свежестью, в воздухе разливается райское благоуха-

12 ние! Ох, и вкусные кутумские раки — крупные, мясистые! До ночи сидят ребята вокруг костра, отколупывая рачьи шейки, клешни, тщательно обсыхая корявые рачьи ножки...

Их никто не гоняет: пацанва не безобразит, никого не задирает, делом занята. А костёр — ну что ж, пионерский, можно сказать, атрибут: все мы были пионерами, взвейся кострами, орлёнок-орлёнок... Интересно, а орлиное мясо — съедобное?

— Это вам не ульяновская Волга: это — дельта, здесь всегда пахнет изобильной свежей рыбой.

Вообще, внутри Астрахани много рек, и довольно больших. Кроме длиннющего родненького Кутума (через весь город вьётся!), имеются Прямая Болда, Кривая Болда, или Криуша, Канал имени 1 Мая, который все почему-то зовут просто Канава («Где живёшь?» — «На Канаве»), Приволжский затон... Ну и сама Волга, понятно. И мосты, мосты, мосты... Потому мир для пацанов делится на болдинских, криушинских, селенских и косинских. Бывает, стенка на стенку ходят, дерутся с колами в руках, хотя редко кого ухайдокают крепко, но это если в драку не ввяжутся болдинские. Те — самые отвязные, оно и понятно — окраина.

Жорка лежит, животом ощущая колкие чешуйчатые поленья, *панорамирует* в шёлку двор и наслаждается тем, что сам невидим и неуязвим. Его нет! Ну, почти. Он же не дурак, знает, что *наука ещё не достигла*, хотя Торопирен уверяет, что грядёт то времечко, когда человек в любой момент исчезнет и в секунду перенесётся... куда захочет!

«Куда, к примеру?» — уточняет Жорка. «Да хоть к ядрене фене!» Ну, это адрес приблизительный, посмотрим-поглядим, Торопирен (субъект, безусловно, великий) порой свистит как дышит. Например, уверяет, что может управлять любым самолётом. Ха! Да он во время войны сам пацаном был, в эвакуации, где-то в Бухаре загорал. Ну и где там самолёты? 13

Нет, Жорка мечтает стать невидимым для других: вот сидит он в чьём-то выпученном глазу, крошечная мошка. Ему часто снятся такие прятки-сны: внезапно увиденная в стволе дерева щель, в которую он втягивается ящеркой; или круглая трещина у самого хвостика астраханского арбузища. А после культпохода шестого «А» в Картинную галерею имени Кустодиева долго снились музейные статуи: мраморные, грозно молчащие, в незрячих глазах — отверстие зрачка. Его всегда завораживала, всегда тревожила гениальная конструкция человеческого глаза, его непроницаемость — в отличие от уха, например.

Спустя лет сорок он сделает остроумный тайник в резной фигурке окимоно: японский монах верхом на карпе — XVII век, китайская резьба, слоновая кость, тонированная чаем. Изящные вещицы эти окимоно, хрупкое величие человеческого гения.

Именно в глазах того карпа будет смутно проблескивать редкой чистоты бриллиант, извлечённый из знаменитой тиары некой венценосной особы и благополучно вывезенный из аэропорта Антверпена, наводнённого полицией.

14 Ёмкость уха он тоже неоднократно использовал в своих целях, а тончайший пластырь телесных оттенков, с помощью которого лепил ухо Гусейну, прокажённому, заказывал впрок в маленькой театральной мастерской на улице *Lamstraat*, в городе Генте.

Весь мир казался ему переключкой тайников. У каждой материи и каждого предмета была своя тайниковая физиономия: лукавая или простодушная, невозмутимая или угрожающая. Утюг был не просто утюгом, а возможным схроном для мелких предметов. Гостер на кухне, настольная лампа, кусок мыла, сухая вобла, обычная инвалидная трость... наконец, стена (о, стена — это неограниченные возможности спрятать что угодно!) — ждали мгновенного клика его изощрённого тайникового ума, дабы превратиться в укрытие. Он шёл по асфальтовой мостовой, и под ногами у него простиралась тайниковая прерия, океан неисчислимых возможностей по созданию схронов. Мир под его взглядом распадался, множился, расчленялся на тайники, закручивался и намертво завинчивался над тайниками.

В то время он уже носил имена в зависимости от страны пребывания. Целая колода имён, правда, одной масти: Жорж, Георг, Юрген, Щёрс — выбирай, какое нравится. От фамилии избавился давно. Никто её и не знал, и не видел, кроме пограничника в будке паспортного контроля. Ни в деловых переговорах, ни в тёрках никогда не мусолил фамилию. Казалось, он и сам её подзабыл. Просто: Дизайнер, как в том, ещё советских времён анекдоте: «Вижу, что не Иванов».

Между тем фамилия его была именно что — Иванов. Но представлялся он: «Дизайнер Жора» — Георг, Жорж, Юрген, Щёрс... Так его и Торопирен именовал, в мастерской которого он ошивался в детстве и отрочестве всё свободное время: «Дызайнэр! Ты — природный дызайнэр, Жора!» Звучало чуть насмешливо и кудревато, тем более что Торопирен слегка катал в гортани мягкий шарик «эр» и вообще говорил с каким-то странным-иностранным акцентом. «Только тебе учиться придётся. Много учиться! — и улыбался чёрными пушистыми глазами болгарской женщины, и тыкал в потолок аристократическим пальцем британского механика. Руки у него были противоречивые: красивой формы, гибкие, даже изысканные, но обвитые жгутами вен, как, бывает, растение выводит из тесного горшка наружу узлы корней. — Учиться разнимать материю жизни. Понюхать, пощупать, слезами полить, матом покрыть... и снова её собрать, но уже в собственном порядке. Об-сто-ятельно, умоляю тебя. Нышт торопирен!»

Вообще-то, по-настоящему Торопирена звали Цезарь Адамович Стахура. Цезарь, ага, ни много ни мало. Сам он произносил это имя с византийской пышностью, с ударением на А, слегка раскатывая второй слог: Цэза-ары... «И он говорит мне, сука сутулая: «Цэзары Адамыч, при всём моём к вам почтении, эта работа столько не стоит!» Работал он спецом-на-все-руки в НИИ лепры — да-да, в лепрозории на Паробичевом бугре. И хотя проживал в нашем же огромном дворе, неделями, бывало, ночевал на работе, в одноэтажном домике

16 с подвалом, куда никого, кроме Жорки, не пускал. В этой своей закрытой, отлично оснащённой мастерской он изготавливал самые сложные лабораторные приборы, вроде настольного стерильного бокса для манипуляций с культурами клеток — в Союзе тогда не выпускали боксов такого типа. Каких только инструментов не нашлось бы в его берлоге: великая рать кусачек, пилочек, ножничек, тисков-тисочков... И разложены все ак-ку-рат-ней-ше по родам войск, так сказать, в истинно немецком порядке. А был ещё такой специальный часовой микроскоп, куда вставлялись разнокалиберные, похожие на крошечные торпеды приборы с именем французского сыщика: *пуансон*. Множество, целый взвод *пуансонов*. Каждый, как солдатик в окопе, сидел в специальной лунке в старинном ящичке, на крышке которого написано: «Potans Bergeon».

И это правда: любой самолёт был ему, боевому лётчику, точно преданный пёс.

Правда и то, что Большая война обошла его боями — по возрасту. Зато успел он попасть на другие войны в другой стране, где вдосталь повоевал и вдосталь налетался. После чего, прокрутив парочку смертельных виражей (типа ранверсмана или хаммерхеда, фигур высшего, но уголовного пилотажа), приземлился тут у нас в Астрахани, где косил под поляка, хотя частенько пропускал словечко-другое на идиш.

Польша тогда вообще была у нас в моде: Анна Герман, Эдита Пьеха, «Пепел и алмаз» Вайды, «Со-

лярис» Станислава Лема... Ну а «Червоны гитары», 17
а новый джаз, — не говоря уж об остроносых лаковых туфлях, вишнёвых галстуках-бабочках, об элегантных костюмах, серых в полоску? Польша была отблеском Запада и, несомненно, самым весёлым баром в социалистическом лагере...

...Стахура, да. Цезарь Адамович. Любопытно, что вот уж этот виртуоз криминального мира, давно объявленный в розыск Интерполом, уверял Жорку, что имени-фамилии своих никогда не менял.

Глава вторая

СЕМЕЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

1

...Чепуха! Менял, конечно, но в довоенном варшавском детстве. Вернее, меняли за него, мнением пацана особо не интересуюсь.

Отец его, Абрахам Страйхман, сын и внук варшавских часовщиков, всем существом своим начтен был на чуткий секундный ход времени: его предки поколениями вникали в работу тикающих механизмов и за пару веков собрали недурную фамильную коллекцию шедевров часового и механического искусства.

Был Абрахам невысоким изящным человеком с остроконечной эспаньолкой, в народе называемой *шпицбрудкой*, с обширной лысиной, по субботам увенчанной бархатной ермолкой, с быстрым и зорким взглядом серых глаз. Подвижный и чуткий от природы, по роду профессии, однако, он подолгу застывал над разъятым часовым организмом, зажатым в *потансе* (микроскопе-станочке), и в эти минуты, с лупой-стаканом на правом глазу, с *пуансоном* в руке, походил то ли на единорога, то

ли на рыцаря перед схваткой. А скорее, на рыцаря 19
верхом на единороге.

Вонь палёного этот пронизательный человек чувял задолго до поджога, до полицейской облавы, до погрома. «Мне это воняет», — задумчиво говорил он, просматривая по утрам газеты и принимая решения внезапные, на посторонний взгляд — странные, а то и вовсе дикие, озадачивая не только соседей, но и собственную семью.

Первый этаж дедовского каменного дома на Рынкóвой улице занимала мастерская, святилище часового божества, она же — торговый зал, уставленный витринами с часами наручными и карманными, с часами-шкатулками, часами-табакерками, часами-веерами и часами-браслетками, часами-медальонами и даже крошечными часами-кольцами.

Солидный был магазин, с товаром на любой вкус: были здесь представлены и дорогие изделия знаменитых домов, вроде Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Breguet, Gustav Becker; часы с хронографом, вечным календарём, минутным репетиром. Но были и расхожие часики для публики попроще.

Здесь же, в отгороженном углу за шкафом стоял рабочий стол Абрахама Страйхмана, за которым производилась починка и отладка всевозможных, в основном старинных часовых механизмов, от которых отступились другие, не столь изощрённые и опытные, как Страйхман, мастера.

Семья проживала в том же доме, в шести комнатах на втором этаже.

И вот уж в этих комнатах...

20 Нет, в квартире Абрахама Страйхмана имелась, конечно, и необходимая мебель: кровати (нужно же на чём-то спать), обеденный и кúхонный столы со стульями (нормальным людям полагается же где-то есть), диван и кресла в гостиной (в доме и важные господа бывают!); ну, и в лампах недостатка не было: люстры, настенные светильники, мелкие лампочки с остро направленным лучом *для разгляду* — чуть не по дюжине в каждой комнате, ибо было на что посмотреть, было чему подивиться в этом доме. Всё же свободное пространство, каждая пядь всех шести комнат, включая даже кухню и прихожую, было отдано царству часов.

Все стены, консоли, полки и полочки, круглые резные подставки на высокой ноге, навесные, угловые и напольные этажерки, жардиньерки и стеллажи, ломберные столики, за которыми никто никогда не играл в карты (глупство, «крэтыньске заенче», идиотское занятие!) — всё было уставлено и увешано часами.

В спальнях детей — старшей Голды, десятилетнего Ицхака, а также младшенькой Златки — тоже тикали, звенели, куковали и мелодично били на разные голоса неумолчные часы, часы, часы...

Было их в квартире триста восемьдесят семь, и никто не гарантировал, что в один прекрасный день отец не поднимется из мастерской с торжественным и счастливым лицом, бережно обнимая каминные или настенные, или интерьерные, или волоча на спине напольные — триста восемьдесят восьмые — особенно редкие, прямо драгоценные часы, которые он выкупил у хозяев по совсем пу-